

Галина ЗАЙНУЛЛИНА

СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВ: ПО НЕМУ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

Сергей Ефремов физически родился в 1917 году в селе Воронцовка Воронежской области, духовно — возможно, в Ленинграде, где с малых лет воспитывался в семье близких родственников и учился в энерго-инженерном училище. Но скорее всего, все же в Севастополе, во время его обороны в 1942 году, когда был командиром электровзвода, затем командовал отдельной армейской ротой — вплоть до падения «города русской военно-морской славы». Ну а творчески Сергей Ефремов состоялся в... Елабуге, когда в 1949 году выбрал этот городок Закамья для своего проживания, ведь бывшим военнопленным не позволяли селиться в крупных городах. Во второй половине пятидесятых его реабилитировали, наградили за борьбу против фашизма орденом Красной Звезды и медалями, в 1963 году приняли в Союз советских писателей ТАСССР. А незадолго до этого, в 1961 году, в Казани вышел в свет сборник его рассказов «Медные реки», в нем бывший узник Дахау и Маутхаузена поэтически изобразил Прикамье, передал мироощущение молодежи, исполненной веры в светлое будущее. Правда, в двух последних рассказах повествовал о совершенно ином — катастрофическом опыте пребывания человека в абсурдной реальности. Особое впечатление на всех произвел «Ванька с красным винкелем».

Скучно, правдиво, ажурно

Ефремов начал писать этот рассказ еще в феврале 1945 года, находясь на лечении в интернациональном госпитале в австрийском городе Линце, куда попал после освобождения союзниками из концлагеря Маутхаузен. У автора «тринадцать лет не поднималась рука закончить» историю о мальчике, которого в концлагере все знали как Ваньку Жукова (это была его партизанская кличка, в честь известного чеховского персонажа, настоящая фамилия — Пташкин). Ванька помогал заключенным органи-

Галина Инисовна Зайнуллина родилась в 1956 году в Казани. Окончила Новосибирский государственный педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе, редактором отдела прозы журнала «Идель» ОАО «Татмедиа». Кандидат искусствоведения (РАТИ-ГИТИС), автор диссертации «Элементы соц-арта и пост-соц-арта в татарском драматическом театре на рубеже XX—XXI вв.». Член Союза театральных деятелей РФ. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Юность», «Идель». Живет и работает в Казани.

зовать побег, попался на этом и в свои неполные тринадцать лет был отдан на растерзание лагерным псам. В обмен на признание о зачинщиках эсэсовский офицер предлагал ему легкую смерть. Но подросток, привязанный к столбу, в грязном полосатом балахоне, презрительно бросил ему в лицо: «А-а-а, плюю я в твою черную душу!»

Художественные достоинства этого рассказа были отмечены писателем-фронтовиком Паушкиным: «скупое», «правдивое», «образно», «точно» — написал он. Хотелось бы добавить к этому несколько слов об умении Ефремова писать ажурно, образуя в нарративе емкие смысловые пустоты, а заодно отметить его новаторство в раскрытии человеческой психологии. Но в начале шестидесятых стойкость Ваньки Жукова, скорее всего, воспринималась в одном ряду с поговоркой майора Деева «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла» или с максимой комиссара Воробьева «Но ты же советский человек!». Главным образом, из-за одного сравнения: когда овчарка схватила Ваню за горло, кровь по его груди заструилась, «словно алый пионерский галстук».

Тогда, шестьдесят лет назад, невозможно было и в полной мере оценить сложность нравственного выбора, который автор обнаружил на страницах рассказа: «Здесь, где для утраты человеческого достоинства и совести сделано все, я, изверившийся, вновь обрел, буду нести в своем сердце и никогда не потеряю веру в самое дорогое, что есть на земле, — веру в человека». Такая возможность появилась после того, как Сергей Ефремов написал повесть «Колокол Бухенвальда»...

«Рядовые подопечные курносой»

Он начал работу над этим произведением 12 апреля 1961 года, в день полета Юрия Гагарина в космос. К этому времени Варлам Шаламов уже завершал работу над первым сборником цикла «Колымские рассказы». Знать о замыслах друг друга они не могли: Шаламов тогда работал внештатным корреспондентом журнала «Москва» в столице, Ефремов трудился главным механиком на прядильно-ткацкой фабрике в Елабуге. Тем не менее оба практически одновременно пошли в творчестве одной непроторенной дорогой — советской лагерной прозы, но не реально-исторической, как Солженицын, а «экзистенциальной», то есть основанной на авторском стремлении исследовать «человека в предельной ситуации». Эти направления отличаются тем, что «реально историческое ищет вину во внешнем: в большевизме, в попрании Бога, в искажении сущности человека — в чем угодно, только не в себе самом. Экзистенциальное — находит в себе мужество для признания: зло есть порождение именно человека, оно является одной из составляющих его природы» [10]. Его признанным родоначальником считается Шаламов, а Ефремов, который исследовал ту же ситуацию — «когда для утраты человеческого достоинства и совести сделано все», известности не получил, хотя исследовал тему не менее убедительно и талантливо. Правда, делал он это на несколько ином материале — описывая опыт пребывания в фашистских лагерях: пересыльном Дахау и предназначенном для смертников Маутхаузене.

Ни к чему искать весы, на которых можно взвесить меру абсурда и страдания, выпавшую на долю того и другого писателя. Неизвестно, что страшнее: непрерывно сосущий голод, холод, болезни, непосильная каторжная работа, зверства конвойных, «блатарей» и лагерного начальства, описанные в «Колымских рассказах», или императорские каменоломни Кайзерштайнбруха, запечатленные в «Колоколе Бухенвальда», — там в течение недели полностью обновлялся состав рабочей команды, израсходованная энергия пополнялась мисочкой хлеба из гнилой картошки и горстью крошек эрзац-хлеба, похожих на опилки, а за ходом работ надзирал капо-палач Шустер из уголовников: если хэфтлинг выбивался из сил и замедлял темп работы, Шустер молча бил ему по черепу киркой...

Не стоит сопоставлять и шестнадцать лет пребывания Шаламова на Колыме с тремя годами фашистской неволи, выпавшими на долю Ефремова, ибо «время, проведенное в клоаке смерти, несоизмеримо с общими единицами времени». Интереснее сравнить выводы, которые сделали тот и другой, побывав в роли «рядовых подопечных курносой». Шаламов — безрадостный, не оставляющий человеку ни единого шанса на достоинство: культура наша, по его мнению, это «легкий грим на обыкновенной обезьяне», и если человека много бить и морить голодом, то у него не останется «гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть покажутся марсианскими понятиями, и притом пустяками». У Ефремова вывод иной, жизнеутверждающий: его герои привыкают молча терпеть нелепость, которую принято называть судьбой, однако не становятся фаталистами. Им важно умирать осмысленно, во имя какой-то цели... чтобы не было потом обидно сгорать в печи крематория.

Люди и «гнусное подобие человеческих качеств»

Обоснованность веры в человека подкрепляется примерами в каждой главе повести «Колокол Бухенвальда». Вот прибытие советских военнопленных, закованных в кандалы, в Маутхаузен: щетинящийся оружием конвой, волкообразные овчарки, затем жгуче-холодный душ в браузебаде, ожидание, босыми, в декабрьскую метель, хольцшуге (долбленной деревянной обуви), наконец, знакомство с капо Краузе — привилегированным заключенным, работавшим на администрацию концлагеря. Он подвергает замерзших голодных людей обыску и палочным ударам, оставляет без ужина, а когда те укладываются спать на голом полу, требует: «Пойте русские. Музыка — духовная пища». И люди, которых замкнули цементом и опутали электризованной колючкой, на которых нацелили дула станковых пулеметов, запели «Священную войну». Запели вызывающе громко о том, что фашистской черной нечисти сколотят прочный гроб.

В головах этих людей постоянно роятся планы фантастического побега. А когда такая попытка осуществляется, их охватывает психоз неуклонного движения: они могут без пищи идти, бежать, ползти, переплывать реки... Могут безоружными, с огнетушителями, камнями и лопатами в руках вырваться за стены Маутхаузена — крепости в крепости. Так произошло 3 февраля 1945 года. Военнопленные, в одном нательном белье, выбросились из дверей и окон дружно, словно в атаку «За Родину! Ура!», и блокировали станковый пулемет огнетушителями. Из трехсот восставших выжил только полковник Александр Белый. Он, как и автор повести, был захвачен в плен в последний день обороны Севастополя, на Херсонском полуострове. «Так ли мы воевали в последние дни? Все ли возможности были исчерпаны?» — не переставал он спрашивать себя через три месяца после восстания, умирая от скоротечной чахотки в госпитале...

Сохранение человеческого достоинства — этим мотивом руководствуются герои повести Ефремова в своих поступках. Так, лейтенанту Степану Калайде рапортфюрер целит из парабеллума то в лоб, то в грудь, то в живот, а он спокойно курит и отпускает язвительные замечания в адрес немцев: «До чего народ несамостоятельный. Хлебом не корми — дай балаган устроить». Шарль Ренуар на виду у охраны обрушивает кирку на голову капо Краузе и вслед за тем, прошитый пулеметной очередью, последнее мгновение жизни тратит на шаг в сторону от убитого: «Не хочу умирать рядом с мразью».

Тем и ценна повесть Ефремова, что, в отличие от шаламовских рассказов, — это не «записки с того света» человека, который так и не вырвался, не вернулся из ада» [10]. В «Колоколе Бухенвальда» показано, как бывшие узники, очутившись на свободе, по капле выдавливают из себя концлагерный атавизм. В госпитале города Линца они

отказываются от порцион-пакетов и системы «буханка на четверых» — принимают решение раскладывать хлеб в столовой свободно, как в доброе мирное время. При виде этого немецким врачам кажется, что русский персонал получает хлеб без нормы. В ответ на их возмущение звучит эмоциональная отповедь Ксаны Васениной: «Здесь лежат те же порции. Думаете, мы есть не хотим? Мы еще много недель будем чувствовать голод. Почему оставлен хлеб? Вы понять не можете: не съеден, потому что каждый боялся оставить голодным товарища. Вы мечтали нас сделать скотами хуже себя. Наука ваша впрок не пошла, хлеб в карманах таскать не будем...»

Отдадим должное объективности Ефремова, достойные немцы играют в его повествовании немаловажную роль, это коммунисты Новарра и оберкапо Вальтер, убежденный пацифист Эрих Эрлих. Не имея возможности назвать всех поименно, писатель упоминает их в общем: «Сколько в Дахау добрых немецких хлопцев повстречали. Тельманцы! Гвардия коммунизма». С теплотой описаны и представители других народов: австрийцы Йоганн Зильберман и Франц Швайбер, поляк Стасек Корчинский, итальянец Энрико Торре, француз Шарль Ренуар, американец Финк. Как видим, национальность не является для Ефремова критерием оценки окружающих, он делит своих персонажей иначе — на людей и нелюдей. К последним относятся: эсэсовский унтер-офицер, который для коллекции фотографировал каждого повешенного по своему приказу; похожий на мешок с овсом капо Краузе и его подручный Шварц — «гносное подобие человеческих качеств»; плюгавенький кривоногий полицай из Западной Украины, усердствующий в поимке беглецов из концлагеря; бывший петлюровский полковник с говорящей фамилией Червяков и отсутствием нравственного стержня; бауэрша Герта Корб, даже родного брата превратившая в подневольного батрака; монашки-швестер, которые обворовывали дистрофиков госпиталя, каждый вечер прихватывавая оттуда тяжелые продовольственные сумки. Среди них имелась одна-единственная «добросовестная медицина» — швестер Луиза.

Неунывающие концлагерные остряки

Этот госпиталь, находящийся в американской зоне, бывшие узники концлагерей называли «Розовым ковчегом» — за окраску фасада и пестрый национальный состав. Однако проблем с общением у его обитателей не возникало, потому что и до того, за колючей проволокой, им приходилось на ходу учиться языкам: немецкому, польскому, русскому, французскому, итальянскому. Немец Карл Новарра, например, изъяснялся на произвольной смеси польско-чешско-сербского и русского языков: «Камераден, други, хай живье Руда Армада!» Француз Ренуар упорно изучал русский язык, заявляя: «Язык людей, оборонявших Севастополь и Сталинград, я буду изучать, не оглядываясь на трубу крематория». Ефремов виртуозно передает эту полилингвальную речевую стихию, причем часто без объяснения некоторых слов, особенно немецких: «все-го айн бисхен», «встал в позу штильгештанден», «кнорре-зуппе из гнилой картошки», «отдай фрейлин ее мантиль», «бефель есть бефель», «появление в рейхстаге обершлавины», — тем самым давая читателю самому испытать, каково это на ходу учиться иностранному языку, догадываясь о смысле слов по контексту.

Именно столкновение языковых стихий часто рождает на страницах повести комический эффект — им у Ефремова подсвечено описание всех кругов ада. Неунывающие концлагерные остряки с «трохи открученными» из-за недостатков витаминов «шурпчиками в головах» называют пробритую вдоль головы каторжную полосу «гитлерштрассе», орла на гербе Германии — «злющий императорский кочеток».

Особо остер на язык Степан Калайда, который, говоря о нацистах, вносит в родной украинский язык издевательские искажения. Например, с насмешливым любо-

пытством разглядывая Маутхазен — сооружение, внешним видом напоминающее модернизированную средневековую крепость, хохмит: «Хлопцы, часом, не слышали, шо у Гитлера слабость: любит грешник малярить, к архитектуре у него склонность. Не по его ли свинячему прожекту сляпан гэ тот гэрзац гистории?»

Паясничает, когда едет с товарищами в каменоломню по узкоколейке, а эсэсовцы, боясь заразиться от подконвойных тифом, тащатся по шпалам и насыпи: «Покорители жизненного пространства по грязи марширен, а нам — почет, мы в первом классе шпацируем».

Какое отличие от Шаламова!.. У того серьезность интонации, отсутствие иронии, язык прозы простой, предельно точный; «ужасы с документальной точностью фиксируются, нанизываются, нагромождаются без всяких попыток как-то все осмыслить, разобраться в причинах и следствиях описываемого» [3]. Нет в прозе Шаламова и попыток разглядеть в лагерной действительности комичное.

А Ефремов следует принципу: «Надо во всем уметь находить для себя облегчение, иначе или с ума спятишь, или в трубу вылетишь». Это сказал Шарль Ренуар Костику-малолетке, когда по ним хлестал ледяными вениками дождь вперемешку со снегом и рубахи примерзли к хребту, а затем посоветовал смотреть на розовую плешь капо Краузе и согреться.

Разумеется, в повести «Колокол Бухенвальда» немало эпизодов, где взрывное, ужасающее содержание не оставляет место юмору. Таков рассказ о компъенском эшелоне с французскими заложниками, бессмысленно лишенными жизни в ходе будничной работы машины подавления. Их тела в плотно набитых вагонах разложились так, что конечности при разгрузке выдергивались. Когда советские военнопленные (в противоипритовых комбинезонах) уложили рядами трупы детей, женщин и стариков около крематория, явились немецкие дантисты и начали размыкать мертвые рты, снимать золотые коронки...

Наверное, даже об этом Шаламову удалось бы написать спокойно, без надрыва, без каких-либо попыток психологического анализа, Ефремов же патетично восклицает: «В тех местах, где простучал на стыках компъенский эшелон, бога не было!»

Вера в особенного Бога

Верил ли Сергей Иванович в Творца-Вседержителя? Сложно ответить на этот вопрос. Это с Шаламовым, который неоднократно декларировал свой атеизм, все предельно ясно. «Я горжусь, что не прибежал к помощи бога ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме», — заявляет он в повести «Четвертая Вологда». На первый взгляд кажется, что Ефремов тоже не желает искать из человеческих трагедий религиозный выход. Он ерничает, описывая, как пронес в госпиталь запрещенную гранату и спрятал в статуях, установленных в готической нише палаты: корпус — в чреве мадонны, запал — у ангела. А потом проверял, честно ли хранит гранату Богоматерь, и отмечал ее грешную полуулыбку. У набожной монашки швестер Луизы тоже поначалу создается впечатление, что советские люди забыли Всевышнего, но после общения с ними она заключает: «Вы, русские, не атеисты. Вы верите в какого-то своего, особенного Бога».

Действительно, сложно сказать, в кого или во что верит Ефремов, можно лишь догадываться по косвенным признакам. Например, по тому, с каким воодушевлением он вместе с другими заключенными Дахау воспринял сообщение потомка остзейских баронов Бенкендорфа (того самого, который много крови испортил Пушкину) о наличии тряпицы со щепотью белорусского суглинка: землю попросили показать; как святыню, передавали из рук в руки; разглядывали, вдыхали ее запах; трогали пальцами...

Как видим, исследовав «человека в предельной ситуации», Ефремов констатирует: любовь к родине, верность долгу и любовь к ближнему являются составляющими людской природы. Было бы мужеством сказать подобное после «Колымских рассказов» Шаламова, но мы-то знаем: оба занялись тематическим расширением русской лагерной прозы почти одновременно. Тот и другой открыли новое в поведении человека, новое, несмотря на большой пласт литературы о тюрьмах и заключении, и, что удивительно, абсолютно разное. Наверное, дело в особенностях окружения каждого из писателей. Доказательством этому предположению служит рассказ «Последний бой майора Пугачева», где у Шаламова есть герой, не желающий равнодушно доживать, готовый бороться за свою честь и достоинство. Разумеется, он не гражданский, не инженер и не рабочий, а рядовой участник Великой Отечественной войны, чья вина заключалась лишь в том, что он оказался в плену. Таких бывших военных, после Победы хлынувших в сталинские лагеря, было множество.

В их числе оказался и Сергей Ефремов... Клеймо недоверия оказалось крепче, чем выколотые в фашистских концлагерях номера. И все же, судя по повести «Колокол Бухенвальда», слабее, чем обретенная в Дахау и Маутхаузене вера в человека.

Образ Севастополя

Работу над следующей книгой — сборником новелл «Севастопольская тетрадь» — Сергей Ефремов начал в 1964 году. Само название подводит к ее сравнению с «Севастопольскими рассказами» Льва Толстого, в которых повествуется о кульминационном эпизоде Крымской войны — блокаде Севастополя превосходящими силами англо-франко-турецкой коалиции с осени 1854-го по август 1855-го. Цикл из трех рассказов — «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе» — принес Льву Толстому славу новатора в описании войны в русской литературе. Ефремов же в новеллах сборника переосмыслил художественные открытия Толстого на материале боевых действий советских и немецко-румынских войск в Крыму, происходивших с октября 1941-го по июль 1942 года.

Начнем с того, что для Ефремова война, как и для автора «Севастопольских рассказов», является завораживающим зрелищем. Горящий Севастополь грандиозен: «Издали видели мы золотые терема горящих зданий, от которых тянуло тяжким зноем. Въехали в первую улицу, как в гудящий огненный коридор. За этим гулом, за грохотом балок и треском огня уже не слышно самолетов и рвущихся бомб. В небо взлетали тучи горящих искр и хлопьев, похожих на красных птиц. Потом весь этот огненный рой сыпался вниз. Вероятно, подобное происходило в последний день Помпеи. Но там была паника, вопли, бежали, спасаясь, люди. А тут — мертво. Гудел огонь. С треском вылетали стекла, и хлестало из окон пламя». Отсылка к Помпее, которую делает Ефремов наряду с другими упоминаниями эпохи античности, создает в «Севастопольской тетради» мифопоэтическое пространство, имеющее вневременное измерение, в котором персонажи становятся продолжателями героических деяний древности.

В строю с первозданной природой

Если в «Севастопольских рассказах» картины человеческих страданий «на фоне бесстрастной и величественной природы оттеняют трагический характер развязанной людьми войны» [2], то Ефремов использует описание чудом сохранившейся в аду сражений первозданной природы опять-таки для создания мифопоэтического пространства: она одушевлена и осмысленно вместе с советскими воинами сопротивляется врагу: «Земля была буквально перепажана бомбами. На земле сгорало все, что могло еще гореть. Лишь дубки, удивительные горные дубки не сдавались. Опаленные, черные

и посеченные, как тонкие переломанные руки, поднятые к небу. Как руки самой земли». В новелле «Подснежники» повествователь дивится: «Воронки, обгорелые кусты, расщепленные бревна. И вдруг — подснежники — дико». Когда за цветами отправляется санинструктор Шура Березина и подрывается на немецкой противопехотной mine, бойцы ставят подснежники в пэтээровскую гильзу с водой и наблюдают, как они оживают, мысленно сопрягая этот процесс с выздоровлением девушки.

Наиболее ярко этот мотив — солидарности природы с правой стороной и ее осознанным противостоянием захватчикам — звучит в новелле «Дерево Эллады». Деревом Эллады и «чистокровным принцем» бойцы называют кипарис, стоящий на правом фланге оборонительной линии: он «суматошно взмахивал ветвями в небе и шумел, цедя сквозь густую лапчатую хвою ветер». Наутро мимо принца-кипариса двинулись в атаку танки фашистов: двое бойцов погибли, шестеро были ранены. Кипарис тоже погиб. Он упал, «как солдат безрукий: ветви осколками поотрывало».

Таким образом, в «Севастопольской тетради» Ефремов заостряет внимание на одушевленности природы, сознании, разлитом в ней: «Складывалось ощущение, что стреляла сама земля, камни, развалины дзотов, засыпанные траншеи, — стреляла спаленными изломанными руками дубков». Души предков тоже участвуют в обороне Севастополя, их незримое присутствие ощутимо: «Отовсюду — из воронок, из развалин, смотрели в упор темные укоряющие глаза, такие, как на иконах суздальского письма».

Поэтика мужественного умолчания

В отличие от первопродходческой откровенности Льва Толстого, который вставляет в текст «Севастопольских рассказов» ужасающие подробности: описание перевязочного пункта, где царят «тяжелый, густой, вонючий смрад»; «перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцевиным лицом и вывернутыми зрачками»; доктора, занятые «отвратительным, но благодетельным делом ампутаций», «кривой нож, входящий в белое здоровое тело», — Ефремов избегает натурализма и описывает смерть скупой, не смакуя подробности. Потому что защитники Севастополя для него, преодолев свою физическую природу, стали памятниками своему героизму еще при жизни: на них обрушивалось столько бомб и снарядов, что на каждого в сутки приходилось около двух пудов крупновской стали — «за неделю из одного металлолома каждому вполне можно персональный пятнадцатипудовый памятник сварганить».

Если Ефремов и касается физической уязвимости бойцов, то описывает смерть и ранения в поэтике мужественного умолчания: «...в живых застали одного майора. Лежал он, засыпанный пылью, и рядом лежали его ноги»; «...я ташу в укрытие лейтенанта Шмелева — ташу, хотя укрытие уже ни к чему: на горле у того рваная рана, и какой-то жуткий насос выкачивает кровь на грудь. Отпускаю в окопчик теплое и безвольно податливое тело»; «Со скалы у мыса Фиолента сброшен моряк. Он падал вниз горящим факелом. Вероятно, был облит бензином. Столкнули моряка штыками».

Персонажи «Севастопольской тетради» монументально цельны. Поэтому Ефремов не ставит перед собой, как Толстой в «Севастопольских рассказах», задачу выявить «сочетание храбрости и трусости, тщеславия и истинного патриотизма в одной и той же грешной душе» [8], следовательно, Ефремову не требуется воспроизведение потока обрывочных мыслей, чувств и ощущений, неуловимо перетекающих друг в друга. Во-первых, на «вечные побуждения лжи, тщеславия и легкомыслия» у героев «Севастопольской тетради» не остается ни сил, ни времени из-за обилия трудоемких хлопотных заданий: «...подземные убежища, дивизионные КП... ни сна, ни отдыха, ни славы». Во-вторых, повествователь находится в едином измерении с персонажами и может передавать их смятенное состояние души лишь по косвенным признакам. На-

пример, когда у Павла Кулешова «на душе скребут кошки, он в первую очередь стремится чем-то занять свои руки». В-третьих, искренние осознанные высказывания персонажей тут же претворяются в самоотверженные благородные поступки, и подозревать за ними «клубок противочувствий» у повествователя нет оснований.

Так, при нападении немцев на землянку раненые, способные держать оружие, отбивались, пока не кончились боеприпасы. Потом, набросив на санинструктора Шуру Березину шинели, закрыли ее своими спинами. В новелле «Странные люди» сама Шура, будучи раненой, наотрез отказывается от эвакуации: «Будь что будет. Чем я лучше других?» — несмотря на то, что положение безнадежно: от роты осталось восемь человек из восьмидесяти четырех, Манштейн готовится поднять в воздух шестьсот самолетов, раненые лежат повсюду: в окопчиках, в развалинах укреплений, в глубоких воронках, их не успевают эвакуировать. Упрямый санинструктор отказывается от эвакуации, даже когда товарищам удается договориться о ее посадке на самолет вместе с возлюбленным, раненым лейтенантом Кулешовым. Эти хлопоты также мотивированы невероятным благородством: «В конце концов, хоть кто-то из нас должен иметь право на жизнь и счастье».

Неуловимость характерного

Исходя из монументальной цельности персонажей, Сергей Ефремов в «Севастопольской тетради» не дает их развернутых портретов, в отличие от Льва Толстого в «Севастопольских рассказах», где описание телосложения, черт лица, одежды порой достигает абзаца. Для Ефремова персонажи его новелл сродни легендарным героям античности, а потому их физическая природа неуловима. Принципиальность такого подхода ярко видна в новелле «Бумажные бинты», в которой повествователь пишет характеристику на лейтенанта Кулешова. Вопреки знанию о храбрости этого офицера, который, «впервые столкнувшись в бою с неприятелем, не растерялся и дал отпор, которому позавидовать мог бы любой из окончивших военную школу», характеристика не клеится. Потому что Кулешов «характерен отсутствием чего-либо характерного: рост обычный, способности средние, голос не громкий и не тихий, глаза не голубые и не карие, волосы — неуловимого цвета».

Не представлена и внешность Шуры Березиной, явно привлекательной внешне. Ее облик едва намечен второстепенными деталями: большой красный крест на санитарной сумке, «угрожающе торчавшие в петличках зубья старшинской пилы», «гопитальный запах». В итоге возникает ощущение, что Березина бесплотна, как ангел.

Достаточно подробно в «Севастопольской тетради» описан внешний облик лейтенанта Кулешова и центрального героя последней новеллы «На худой конец» — ефрейтора Еременко. Ефремов делает это в рамках использования приема двойного изображения, открытого в «Севастопольских рассказах» Львом Толстым: «один и тот же характер в опошляющих условиях обыденности и в экстремальных обстоятельствах». Особенно яркий контраст достигается в образе ефрейтора Еременко. Это «не первой молодости сухощавый человек, растерянный от навалившейся на него ответственности» — он стал командиром первого расчета тыловой АЭС, питающей штаб, хотя прошел всего «три класса первой ступени да коллдор». У него «узкое худое лицо. От губ и глаз — лучиками тонкие морщинки. С годами накладывают их забота и беспокойство». Еременко в общении со старшими по званию проявляет излишнее солдатское усердие в повторении «будет исполнено», «есть».

Если поначалу повествователь видит в Еременко врожденную апатию и отсутствие технических знаний, необходимых для ведения современной войны, то затем буквально обожествляет его: Еременко светился, «как Иисус Христос на вознесении», ког-

да чинил воздушку под напряжением шесть тысяч вольт — рассеченный провод высоковольтной линии, питающей штаб. Светился, потому что шел дождь, и капли дождя вспыхивали поверх резиновых перчаток и комбинезона искрами. В это время рядом с ним несколько десятков «юнкеров» сбрасывали бомбы, «все живое вжималось в щели, в землю, в укрытия».

Повествователь задумывается: «Я знаю, за то, что он совершил, его даже к медали не представят. Но почему-то именно совершенное им заставляет меня спрашивать самого себя: „А смог бы ты сделать так же. Не пожертвовать собой — жертвовать проще. А вот именно сделать, выполнить? Я твердо знал: это был не только труд, было и то, о чем не принято напоминать...“»

Черный паук, зажавший диск солнца

Что же это такое, «о чем не принято напоминать»? Герои Ефремова ничего не говорят о патриотизме, любви к Родине и уж тем более к Сталину и Коммунистической партии, даже определение «советский» в новеллах ни разу не встречается. Не случайно у повествователя не клеилась характеристика на Кулешова: на чиновничье-канцелярских оборотах «предан», «дисциплинирован» его заносило, «как машину к обрыву на крутых инкерманских серпантинах».

Между тем Лев Толстой в «Севастопольских рассказах» отчетливо заявляет тему патриотизма как в авторской речи, так и в потоке сознания персонажей, а затем «почти любое явное проявление любви к Родине и сознательную готовность отдать за нее жизнь либо отрицает, либо разоблачает как несостоятельные ходом вещей» [1]. Патриотизм допускается Толстым «только как очень личное и потому глубоко сокровенное чувство, публичное проявление которого недопустимо» [1].

Сергей Ефремов в этом солидарен с классиком. В новелле «Знакомое лицо» повествователь перед погребением павших товарищей предвидит пафосную речь политрука: «Мы выдержали два штурма, выдержим и третий... Севастополь — штык, направленный в бок гитлеровским армиям»; «лучше погибнуть стоя, чем жить на коленях», — и заранее с раздражением думает о том, что воевать все больше приходится «ползком и пригнувшись». Солидарен Ефремов с Толстым и в том, что война абсурдна: «Логика! — ворчал Жора Черкасец. — Не война — сплошное душегубство».

Тем не менее несомненным достоинством личности для Ефремова является твердость моральных убеждений, а не, как у Толстого, их зыбкость, в пользу готовности к развитию, переосмыслению идеалов, освобождению от навязываемой обществом моральной косности. На чем же основываются твердость духа и героизм защитников Севастополя в новеллах «Севастопольской тетради»? Слава и награды, в их представлении, имеют относительную ценность. Так, за постройку Семеновского дота без потерь повествователь «представлен к звездочке». Но в штабе наградные бумаги берут равнодушно, не читая — «Все равно сжигать»: Севастополь готовится к сдаче. Комментариев, слов сожаления по этому поводу нет.

Ненависть к немцам тоже не является движущей силой их поступков. В первой новелле «Убил» повествователь находит во внутреннем кармане убитого корректировщика потрепанную фотографию, ему зазорно в глаза смотрит «бедовая девятилетняя девочка», и он думает: «Уж очень девчонка похожа на русскую». Во второй новелле «Соломенные валенки» комбат добродушно встречает в блиндаже взятого в плен языка: «Садись, фриц, с благополучным прибытием». С добродушной усмешкой описывает этого пленного и повествователь: «Длинная, балахоном, шинель и полуметровые соломенные валенки». В новелле «Бумажные бинты» лейтенант Кулешов после ночного боя вернулся перевязанный немецкими бумажными бинтами; это грозит ему

серьезными неприятностями, от которых спасают свидетельские показания военврача Незнамова о наличии в части трофейных бинтов, тем не менее Кулешов отчетливо помнит: «Подполз кто-то ко мне в темноте и бормочет по-немецки».

Исторический военный конфликт вообще не заявляется в плоскости «свои — чужие», «русские — немцы», «советские — фашисты». Потому что никаких «своих» нет, защитники Севастополя брошены на произвол судьбы: «Утром слушали Москву. Передали: „Севастополь оставлен... Войска эвакуированы“».

В новелле «Последний патрон» оборона Севастополя выводится на уровень извечного противостояния Добра и inferнального Зла: «На шоссе появилась серо-зеленая колонна. Вверху над нею знамя, красное, с перечеркнутым свастикой белым кругом. Над смутными лицами врагов черный паук намертво зажал диск солнца». У защитников Севастополя остается один пулемет, при нем единственный диск, и последней, отчаянно длинной очередью они ударяют не по живой силе, а по черному пауку, добиваясь того, чтобы знамя упало.

В бой идут безродные аристократы

Скорее всего, твердость моральных убеждений героев «Севастопольской тетради» Ефремова питает аристократизм духа, осознание себя наследниками всех духовных богатств, которые выработало человечество. Хотя все они потомки бесправных крестьян, о которых толстовский князь Гальцин уничижительно говорит: «Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры». В 1941—1942 годах Севастополь обороняют гуманитарно и технически высокообразованные люди — они следят за гигиеной, играют на музыкальных инструментах, красиво ухаживают за женщинами, в горячке боя восстанавливают школьные знания немецкого языка. Неумна их тяга к изобретательству, усовершенствованию оружия: в новелле «Зеленые поляны» упомянуты катапульта для гранаты Ф-1 и взрыватель-сюрприз из дюралевого обшивки «юнкерса» с «ферромагнитными деталями, чтобы не обнаружил миноискатель». Большое значение для них имеет русская и мировая литература, в разговорах упоминают произведения Бальзака, Гомера. Неудивительно, ведь в действующую Красную армию поступает литературная классика в брошюрах: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев. Сердце повествователя замирает «от чеканного ритма и бронзового звучания» поэмы «Медный всадник». А когда он занимается описанием минного поля на карте, его голову «цепкими лапами сжимает сон», думает об авторстве строки «Недосыпая, недолюбя, и молодость прошла...» — Багрицкого она или Асеева.

Дисциплина и слаженность действий бойцов в «Севастопольской тетради», даже в отсутствие высшего командования, основаны на их духовном родстве, а не на служебной иерархии или сознании сословного аристократизма, которые в «Севастопольских рассказах» переходят, «с одной стороны, в важничество, с другой — в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производят совершенно противоположное действие».

Особый дух Севастополя

Итак, Ефремов при создании художественного образа Севастополя использует следующие приемы: создание мифопоэтического пространства, включающего в число защитников Севастополя природу, саму древнюю крымскую землю, а также души ушедших предков; придание монументальной цельности персонажам, которая доводится

до обожествления одного из них в последней новелле «На худой конец», хотя хронологически ей следовало бы быть предпоследней — сдача Севастополя описывается в новелле «Последний патрон»; перевод геополитического конфликта на уровень извечного противостояния Добра и inferнального Зла.

Благодаря всему этому убедительно звучит утверждение: «...общепринятые нормы к Севастополю не подходят. Здесь... особая этика, свой дух, больше того — боевая одержимость. Может быть, она сродни одержимости наших предков, сжигавших себя в скитах...» Более того, мужество и стойкость участников обороны Севастополя превосходят легендарный героизм античных героев. Такой вывод можно сделать исходя из впечатления, которое Херсонес оказывает на повествователя и ефрейтора Еременко: он представлялся им городом-гигантом: «А в раскопках он крепость-невеличка. Может, и легендарная Троя, глянуть ближе, не большей окажется... Так себе городишко был. Вроде нашего райцентра. Но чистенький видать и культурный»; «Думается, главный виновник наших представлений о величии Эллады — Гомер... большой фантазер».

Ефремов будто полемизирует с писателями начала XIX века, которых сюда влекли памятники античной культуры и место крещения Владимира Святославича. Он не касается курортной и революционной тем, которыми на рубеже XIX—XX веков дополнили образ Севастополя литераторы Серебряного века, и вслед за Толстым закрепляет военно-патриотическую доминанту в «севастопольском тексте» русской литературы. Вклад его в это в должной мере пока не оценен.

Чтобы помнили

При жизни Сергей Иванович увидел только одну свою книгу — «Медные реки». «Колокол Бухенвальда» был подписан в печать в Татарском книжном издательстве 28 апреля 1965 года — за два дня до его гибели. Смерть Ефремова, прошедшего через оборону Севастополя, круги ада фашистских и сталинских лагерей, наступила неожиданно и нелепо в Елабуге, в заполненном весенней водой котловане. Ему было 48 лет, он, вероятно, планировал поведать миру о сталинских лагерях и наверняка сделал бы это иначе, чем Шаламов и Солженицын, показал с другого ракурса.

Но самое страшное не это — не бессмысленная смерть, не прерванный литературный полет, а перспектива забвения его талантливых произведений. В Казани о Сергее Ефреме помнили, пока были живы писатели-фронтовики Татарстана: Тихон Журавлев, Геннадий Паушкин. В 1967 году при их содействии вышла в свет «Севастопольская тетрадь», в 1993-м, через двадцать восемь лет после смерти Ефремова, его рассказы были изданы отдельной книжкой в серии «Библиотека журнала „Казань“». А в данное время Сергея Ефремова помнят и чтут только в Елабуге: в 2015-м, в год 70-летия Победы, Елабужский государственный музей-заповедник переиздал «Севастопольскую тетрадь», оставив прежнюю обложку — фрагмент картины Дейнеки «Оборона Севастополя». 8 мая 2017 года в Елабуге, на доме № 14 по улице Казанская, где жил Сергей Иванович, была установлена мемориальная доска. Недавно о нем вспомнил Союз писателей Татарстана и при содействии Президентского фонда культурных инициатив оцифровал его книги: они выложены на сайте писательской организации, в разделе «Бессмертный литературный полк».

Литература

1. Волоконская Т. «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: автор и читатель в поисках правды. — <https://tai-simulacr.livejournal.com/457437.html>

2. Дзыга. Я. Война в настоящем ее выражении. Трагедия войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого и «Суровых днях» И. С. Шмелева. — <https://cyberleninka.ru/article/n/voyna-v-nastoyaschem-ee-vyrazhenii-tragediya-voyny-v-sevastopolskih-rasskazah-l-n-tolstogo-i-surovyh-dnyah-i-s-shmeleva/viewer>
3. Есипов В. Шаламов. — М.: Молодая Гвардия, 2012. — 369 с.
4. Ефремов С. Медные реки. — Казань: Тат. кн. изд-во, 1961. — 96 с.
5. Ефремов С. Колокол Бухенвальда. — Казань: Тат. кн. изд-во, 1965. — 248 с.
6. Ефремов С. Севастопольская тетрадь. — Казань: Тат. кн. изд-во, 1967. — 96 с.
7. Иванов А. Елабужский писатель Сергей Ефремов. — <https://elabuga-rt.ru/news/obschestvo/elabuzhskiy-pisatel-sergey-efremov>
8. Курицын В. Лев Толстой. «Севастопольские рассказы». О чем эта книга. — <https://polka.academy/articles/541?block=2259>
9. Миленко В. Преподавание литературного краеведения: севастопольский опыт.
10. Стариков Д. «Лагерная проза» в контексте русской литературы XX века? Понятие, границы, специфика. — <https://cyberleninka.ru/article/n/lagernaya-proza-v-kontekste-russkoj-literatury-hh-veka-ponyatie-granitsy-spetsifika/viewer>
11. Толстой Л. Повести и рассказы. Библиотека российской классики. — М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Милосердие», 1994. — 683 с.
12. Шаламов В. Сочинения. — <https://shalamov.ru/library>